

ТРИ ЗАМЕТКИ К ПРОБЛЕМЕ: «ПУШКИН И ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА»

1. Пушкин и «Historiettes» Таллемана де Рео.

Работая над первой главой «Евгения Онегина», Пушкин упомянул, что герой его «хранил» «в памяти своей» «дней минувших анекдоты». Что здесь имелось в виду, становится ясно из сопоставления с «Вечером в Кишиневе» В. Ф. Раевского. Здесь «маиор» <т. е. сам автор. — Ю. Л.> обрушивается на «Воп-пот*** камердинера Людовика 15» и добавляет: «Я терпеть не могу тех анекдотов, которые давно забыты в кофейнях в Париже».¹ Речь идет, следовательно, об особом жанре мемуарной литературы, получившей особенное развитие во Франции XVII—XVIII вв. Среди документов этого рода внимание Пушкина привлекли «Historiettes» («Занимательные истории») Таллемана де Рео. О бесспорном внимании Пушкина в начале 1820-х гг. к этому источнику свидетельствует следующее: рассказывая о своих любовных похождениях, автор мемуаров замечает: «Однажды мне передали, что мой соперник отозвался об <о> мне как о молокососе; я написал следующий куплет на модный в ту пору мотив:

Ну что ж, соперник мой, я по сравненью с вами
Не вышел ростом и годами,
Но все же вспомните, как был неправ,
Давида презирая, Голиаф».²

¹ А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 1, с. 368.

² Таллеман де Рео Жедеон. Занимательные истории. Л., 1974, с. 244. Э. Л. Линецкая, переводя эти стихи, видимо, не заметила, что они уже были переведены Пушкиным. Приводим французский текст эпиграммы:

Mon rival, il est vrai, vous avez du mérite;
Contre vous ma force est petite
Vous en faites peut-être aussi trop peu d'état:
David était ainsi méprisé par Goliath.

(Talleman des Réaux. Les historiettes: Mémoires pour servir à l'histoire du XVII-e siècle publiés sur le manuscrit inédit et autographe par Mr. Monmerié. Bruxelles, 1835, t. VI, p. 275).

Эпиграмма Таллсмана де Рео вдохновила Пушкина на вольный ее перевод, приспособленный к условиям конфликта с гр. М. С. Воронцовым:

Певец-Давид был ростом мал,
Но повалил же Голиафа,
Кот<орый> <?>был <?>и генерал <?>,
И, положусь <?>, не про <ше> <?> гр <афа>

(II, 318).

Чтение двух последних строк предположительное. Это не удивительно: первые два стиха — точный перевод из Таллсмана де Рео, и Пушкин их написал быстро и уверенно. Вторые два — приспособление французской эпиграммы к одесской ситуации 1824 года.

Не касаясь всех причин интереса Пушкина к «Занимательным историям», отметим еще одну: Пушкина в Кишиневе и особенно в Одессе волновал вопрос положения поэта в обществе. В России социальный статус человека определялся чином, службой, богатством, сословностью, иногда родством или связями. Занятие поэзией не воспринималось как профессия и тем более как социальный статус. Пушкин демонстративно отказывался мириться с тем положением в обществе, право на которое ему давал его чин. «Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое» (XIII, 103). Он хотел завоевать для русской культуры «вакансию поэта» (Пастернак) — право на независимость, общественное положение и уважение, которое общество обязано питать к своему поэту. И здесь естественно было обратиться к культуре, в которой быть поэтом означало занимать определенное место в структуре общества, — к культуре Франции. При этом его интересовали имена и эпохи, связанные с борьбой поэта за право на общественное уважение (позже его в этом же аспекте будет интересовать Ломоносов). Для Франции это эпоха XVII века. Пушкина, вероятно, в «Занимательных историях» особенно заинтересовала фигура Вуатюра.

Пушкин, видимо, не был поклонником поэзии Вуатюра³. Однако в данном случае его интересовала не поэзия, а поэт. Еще из «Лицея» Лагарпа, штудировавшегося им в царскосель-

³ Единственный отзыв содержится в отрывке «О французской словесности» (XII, 191).

ские годы, Пушкин знал о Вуатюре как предшественнике Вольтера по искусству, который, будучи плебеем, смог заставить вельмож уважать себя и, благодаря своему поэтическому таланту, поставить себя на равной ноге с первыми сановниками королевства. По словам Лагарпа, Вуатюр владел «искусством сблизить и сдружить запросто (*familiariser*) талант и величие, не компрометируя ни того, ни другого»⁴. Далее сообщалось, как Вуатюр в ответ на вопрос Анны Австрийской, о чем он задумался, тотчас же поднес ей стансы со смелыми упоминаниями герцога Букингема и кардинала Ришелье. Шутка была фамильярной. «Королева, говорит г-жа де Моттвиль, не почла себя оскорбленной и стихи показались ей столь милыми, что она их долгое время хранила в своем кабинете. «Этот человек умен», — прибавила она.»⁵

Таллеман де Рео приводит случаи унижения поэта вельможами: «Как-то Вуатюр зашел в трактир, где кутил Герцог Орлеанский. Бло, решив позабавиться, запустил ему чем-то в голову; произошел переполох, все бросились смеяться к Вуатюру, какой-то ливрейный лакей, по легкомыслию, едва не пронзил Поэта шпагой»⁶. И тем более важным становилось то, что этот же Вуатюр сумел поставить себя среди аристократов и придворных как равный: дружил с сыном г-жи Рамбулье, влочил за ее дочерью, заставил надутых вельмож добиваться его дружбы как великой чести. Бросается в глаза поразительный параллелизм между тем, как строит свое поведение Пушкин в годы южной ссылки, и описанием поведения Вуатюра у Таллемана де Рео. То, что обычно представляется как результат неуравновешенности темперамента или «кипение молодой крови», приобретает в такой перспективе характер сознательной ориентации на образец независимого и поэтического поведения. В описании Таллемана де Рео, у Вуатюра были три страсти, кроме поэзии: карточная игра, дуэли и увлечения женщинами. Все три темы развиваются с большими подробностями: «Главным его (Вуатюра. — Ю. Л.) увлечением в жизни были любовь и игра в карты. Он играл с таким азартом, что к концу партии каждый раз вынужден был менять рубашку»⁷. По поводу страсти Вуатюра к поединкам тот же

⁴ Laharpe J. F. *Lycée ou Cours de littérature*. Paris, 1800, t. VII, p. 64.

⁵ Там же, с. 141.

⁶ Таллеман де Рео, с. 161.

⁷ Там же, с. 155.

автор писал: «Не всякий храбрец может насчитать столько поединков, сколько было у нашего героя, ибо он дрался на дуэли по крайней мере четыре раза; днем и ночью, при ярком солнце, при луне и при свете факелов».⁸ Наконец, в создаваемый Вуатюром стереотип поведения входили устные легенды о его бесконечных любовных увлечениях. «Волокитой он был изрядным: однажды — рассказывала мне м-ль де Шалэ—еще в ту пору, когда она была наставницей м-ль де Кервено, Вуатюр, придя к ней в гости, вздумал строить куры ее воспитаннице, которой было всего двенадцать лет. В этом м-ль де Шалэ ему помешала, но разрешила вволю любезничать с младшей сестрой де Кервено, которой шел только восьмой год. Потом м-ль Шалэ ему сказала: «Там внизу есть еще служанка, шепните и ей словечко мимоходом».⁹

Этот эпизод из сердечной жизни Вуатюра особенно интересен, т. к. он, возможно, является ключом к одному странному рассказу Якушкина. Говоря о посещении Пушкиным Каменки, он рассказывает, что у жены А. Л. Давыдова «была премиленькая дочь, девочка лет 12. Пушкин вообразил себе, что он в нее влюблен, беспрестанно на нее заглядывался и, подходя к ней, шутил с ней очень неловко. Однажды за обедом он сидел возле меня и, раскрасневшись, смотрел так ужасно на хорошенькую девочку, что она, бедная, не знала, что делать, и готова была заплакать; мне стало ее жалко, и я сказал Пушкину вполголоса: «Посмотрите, что вы делаете; вашими нескромными взглядами вы совершенно смутили бедное дитя». — «Я хочу наказать кокетку», — отвечал он, — прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочет взглянуть на меня».¹⁰

Экстравагантное поведение Вуатюра, его дерзость в обращении с аристократами, постоянная готовность языком и шпагой защищать свою честь и независимость продиктованы были убеждением, что это — «единственный способ заставить именитых господ считаться с тобой».¹¹

В дальнейшем Пушкин часто связывал гордую независимость русского поэта с тем, что у нас «писатели взяты из выс-

⁸ Там же, с. 159.

⁹ Там же, с. 155—156.

¹⁰ Якушкин И. Д. Записки, статья, письма. М., 1951, с. 41.

¹¹ Таллеман де Рео, с. 154.

шего класса общества — аристократическая гордость сливается у них с авторским самолюбием» (XIII, 179), и противопоставлял положение поэта в России и Европе. Однако внимательное изучение «поэтических биографий» от Вуатюра до Байрона осталось совсем не бесследным для его выбора собственного поведения.

Гипотеза о воздействии на Пушкина «Забавных историй» Таллемана де Рео наталкивается на существенную трудность: книга (вернее, книги — первое издание вышло в шести томах) появилась в печати лишь в середине 1830-х годов. Однако в XVIII в. мемуары Таллемана де Рео распространялись в рукописной традиции и в отрывках включались в сатирические сборники. Утверждение о знакомстве Пушкина с каким-то рукописным списком памятника не покажется невероятным, если напомнить, что есть все основания предполагать наличие такого списка в начале XIX века в Москве, в кругах, с которыми соприкасался поэт, может быть, в библиотеке его отца или дяди. В 1803 году И. И. Дмитриев опубликовал в «Вестнике Европы» Карамзина басню «Прохожий»:

Прохожий, в монастырь зашедши на пути,
Просил у братии позволенья
На колокольню их взойти.
Взошел и стал хвалиль различные явленья,
Которые ему открыла высота.
«Какие, — он вскричал, — волшебные места!
Вдруг вижу горы, лес, озера и долины!
Великолепные картины!
Не правда ли?» — вопрос он сделал одному
Из братьев, с ним стоящих.
«Да! — труженик, вздохнув, отвечивал ему: —
Для проходящих.»¹

Стихотворение это — переложение отрывка из еще не опубликованных тогда мемуаров Таллемана де Рео: «Henri IV, étant à Cîteau, disait: «Ah! que voici qui est beau! Mon Dieu, le bel endroit...!» Un gros moine, à toutes les louanges que le Roi donnait à leur maison, disait toujours: *Transeuntibus*. Le Roi y prie garde, et lui demanda ce qu' il voulait dire: «Je veux dire,

¹² Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений. Л., 1967, с. 205.

Sire, que cela est beau pour les passants, et non pas pour ceux qui y demeurent toujours»¹³.

Вопрос о степени знакомства Пушкина с традицией французской рукописной литературы не только не изучен, но даже и не поставлен. Пока это не сделано, все заключения на сей счет поневоле будут иметь гипотетический характер. Однако сказанного, как кажется, достаточно для постановки проблемы. По крайней мере, пока не удалось указать другой, более достоверный источник эпиграммы Пушкина «Певец Давид был ростом мал» и басни Дмитриева «Прохожий», отказываться от гипотезы существования в Москве списка мемуаров Таллемана де Рео и знакомства Пушкина с этим списком нет достаточных оснований.

2. К проблеме: Пушкин и переписка аббата Гальяни

30 сентября 1826 года Бенкендорф написал Пушкину письмо, в котором писал: «Его императорскому величеству благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества» (XIII, 298). Распоряжение это «имело характер политического экзамена».¹ Пушкин был поставлен в исключительно щекотливое положение: с одной стороны, он отлично понимал, чего от него требуют (недаром он говорил Вульфу позже: «Мне бы легко было написать то, чего хотели»), с другой, считал, следуя тому же источнику, что «не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро».² Последнее означало, что Пушкин не расстался еще с надеждой влиять на правительство, а это требовало компромиссных форм выражения: собст-

¹³ T a l l e m a n t d e s R é a u x. Les historiettes... Bruxelles, 1835, t. VI, p. 275. Перевод: «Генрих IV, будучи в Сито, сказал: — Ах, как здесь прекрасно. Боже, какое чудесное место!.. Толстый монах, на все похвалы, которые король расточил их обители, отвечал неизменно: — Для проходящих <лат. — Ю. Л.>. Король заметил это и спросил его, что он хочет сказать: — Я хочу сказать, сир, что все это прекрасно лишь для проходящих, а не для тех, кто живет здесь постоянно».

Цитата приводится по изданию, имевшемуся в библиотеке Пушкина. То, что разрезанными оказались лишь стр. первого тома (до 213), может свидетельствовать как о недостаточном интересе Пушкина в последние годы к этому источнику, так и о хорошем с ним знакомстве.

¹ Примечания Б. В. Томашевского к записке «О народном воспитании» в кн.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10-ти т. 4-е изд. Л., 1978. т. VII, с. 462.

² А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974, т. 1, с. 416.

венные мысли приходилось облекать в слова, которые вызвали бы сочувствие Николая I. Да и сами мысли приходилось отбирать. Можно не сомневаться, что, когда в декабре 1834 года на балу у Е. М. Хитрово он развивал перед великим князем Михаилом Павловичем свои мысли о воспитании и «успел высказать ему многое» (XII, 335), Пушкин не был так осторожен, как в записке «О народном воспитании», хотя цель была сходной («Дай бог, чтоб слова мои произвели хоть каплю добра!»; XII, 335).

Пунктом, который был важен для собственных убеждений Пушкина в этой области и, одновременно, мог произвести благоприятное впечатление на правительство, был вопрос о подавлении домашнего образования в России. Его Пушкин и поставил в центр своей записки. Разговаривая с Вульфом, он одновременно подчеркнул это как свою заслугу и как примирительный жест в сторону правительства, хотя и не достигший цели: «Однако я между прочим сказал, что должно подавить частное воспитание. *Несмотря на то* (курсив мой. — Ю. Л.), мне вымыли голову».³

Настойчивость, с которой Пушкин обращается в этом тезису, может быть объяснена. Всякое размышление о воспитании, связанное с подведением итогов того общественного развития, которое получило свое завершение на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, в конечном счете обращалось к оценке педагогических идей Руссо. От Карамзина как автора «Моей исповеди» до Герцена и Достоевского вопрос этот неизменно приобретал именно такой поворот. Критика Руссо с его идеей домашнего воспитания объединяла в 1826 году всех. Однако надо было найти в этих рамках такую позицию, которая не сливалась бы с официальной.

Заказанную ему записку Пушкин писал в Михайловском. В михайловской библиотеке его находилась книга, которую всего за несколько месяцев до этого он прочитал с увлечением. Это были письма аббата Гальяни.⁴

Гальяни, которого Пушкин с основанием включал в «энциклопедии скептический причот» (III, 219), — друг Дидро,

³ Там же.

⁴ Correspondance inédite de l'abbé Ferdinand Galiani conseiller du Roi pendant les années 1765 à 1783 avec Mme d'Epinau, le baron d'Holbach, le baron de Grimm, Diderot et autres personnages célèbres de ce temps <...> Paris, 1818, t. I-II. }

Гольбаха, Гельвеция, т-жи Эпине, был мастером эпистолярного жанра. Письма его, изданные в 1818 году, пользовались широкой популярностью в литературных кругах начала 1820-х годов. Они обсуждаются, упоминаются, цитируются в письмах Карамзина, Дмитриева, Вяземского, А. И. Тургенева.⁵

Пушкин прочел письма Гальяни внимательно и запомнил прочно. Вместе с тем он мог рассчитывать, что люди типа Вяземского тоже помнят их текст настолько хорошо, что могут понять любой намек на них с полуслова. В письме от 10 июля 1826 г. он писал Вяземскому: «Напиши нам его <Карамзина. — Ю. Л.> жизнь, это будет 13-й том Русской Истории; Карамзин принадлежит истории. Но скажи *все*; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре» (XIII, 286). Никаких сомнений в том, что Вяземский поймет, что речь идет о письме г-же Эпине от 24 сентября 1774 года у Пушкина не было.⁶ Позже, в 1834 году он, конечно, не справляясь с книгой, по памяти точно процитировал в письме жене: «Ради бога, берегись ты. Женщина, говорит Гальяни, *est un animal naturellement faible et malade*, Какие же вы помощницы или работницы?» (XV, 182).⁷

⁵ Карамзин спрашивал Дмитриева: «Читал ли ты *Correspondance de Galiani*? Он был очень умен в многих отношениях, и гораздо умнее, гораздо плутоватее наших Либералистов». Однако сам же замечал: «Гальяни сказал о Неаполе: *on ne craint pas ici la justice, mais on craint l'injustice* <...> Это можно отнести и к России любезной» (Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб, 1866, с. 251—252).

⁶ В этом письме говорилось: «Боже вас сохрани от свободы печати, проведенной с помощью правительственного декрета. Ничто более этого не способствует одичанию нации, уничтожению вкуса, порче красноречия и всех способностей. Знаете ли вы мое определение того, что такое *высшее ораторское искусство*? Это — искусство сказать всё и не попасть в Бастилию в стране, где запрещено говорить всё». («*Correspondance inedite*...», 1818, t. II, p. 302). Б. Л. Модзалевский, комментируя письма Пушкина, замечает: «Что хотел выразить Пушкин, говоря «скажи всё», — догадаться трудно» (Пушкин. Письма. М.; Л., 1928, т. II, с. 169). Между тем очевидно, что речь может идти только о «Записке о древней и новой России» и конфликте Карамзина с Александром I в 1819 г. и о том, что какие-то сведения о «Записке», а, возможно, и о «Мнении Русского гражданина» у Пушкина в этот период уже были.

⁷ Цитата из диалога «*Les femmes*», помещенного в конце второго тома: **Le marquis** Comment définissez-vous les femmes? **Le chevalier** Un animal naturellement faible et malade (Correspondance inédite, t. II, p. 335). (Перевод: *Маркиз*. Как определите вы женщин? *Шевалье*. Животное, от природы слабое и больное).

До сих пор не было отмечено, что тезис о необходимости по-давить домашнее воспитание Пушкин нашел у Гальяни, что было естественно: это была самая свежая критика идей Руссо, которую он читал. А кроме того, во-первых, эта критика исходила из лагеря просветителей и, во-вторых, была изложена в столь парадоксальной форме, что ее можно было истолковать как защиту охранительных начал. Не случайно Карамзин, читая Гальяни, «бранил его только за цинизм»,⁸ а Я. Грот простодушно полагал, что Гальяни «был враг гражданской свободы и независимой печати».⁹ Свои воззрения на воспитание Гальяни изложил в письме г-же Эпине от 4 августа 1770 года. Прямо полемизируя с Руссо, он считает целью воспитания формирование не идеального, а реального гражданина, приспособленного к существованию в тех условиях, которые ему предлагает современное общество. Условия эти основаны на жестокости и неравенстве. Поэтому цель воспитания «может быть сведена к двум пунктам: *научить выносить несправедливость и научить терпеть огорчения*»¹⁰. Общественное воспитание можно уподобить дрессировке животного. Исходя из этого положения, Гальяни защищает педагогический парадокс: «Воспитание должно ампутировать таланты и подрезать им ветви; если это не будет делаться, вы будете иметь поэтов, импровизаторов, храбрецов, художников, забавников, оригиналов, которые развлекают других, а сами умирают с голоду, не будучи в силах заполнить вакансии, существующие в общественном строе».¹¹ Следовательно, заключает Гальяни, «правила воспитания весьма просты и кратки: в республике нужно менее воспитывать, чем в монархии, а в деспотии следует содержать детей в сералах, хуже чем рабов и жен».

Однако весь этот ход рассуждения оказывается парадоксом, который надо понимать и прямо противоположным образом: частное воспитание ставит ребенка лицом к лицу со взрослыми, а общественное — со сверстниками. Поэтому «общественное воспитание ведет к демократии, а воспитание частное и домашнее — прямая дорога к деспотизму. Никаких коллегей нет ни в Константинополе, ни в Испании, ни в Португалии»¹².

⁸ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву..., с. 252.

⁹ Там же, с. 0155.

¹⁰ Correspondance inédite..., t. I. p. 128.

¹¹ Там же, с. 129.

¹² Там же, с. 130.

Такая парадоксальная позиция лучше всего давала возможность Пушкину высказать свои убеждения и одновременно «сделать добро», внушая правительству благие мысли. Пушкин, как и Гальяни, требует педагогического реализма и отстаивает, с этой точки зрения, идею упорядочения общественного воспитания: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное» (XI, 44). Однако, как и у Гальяни, у него оказывается, что это — путь в противоположном от деспотизма направлении: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопами, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует» (XI, 44).

Записка «О народном воспитании» — документ большой сложности: в нем переплелись глубокие убеждения автора и соображения тактики в исключительно трудных и самому поэту неясных еще условиях. Свести этот документ к какому-либо одному источнику было бы крайне неосторожно. Однако выявление тех импульсов, которые воздействовали на Пушкина, когда он в Михайловском 15 ноября 1826 года обдумывал, как изложить свои воззрения для столь необычного читателя, необходимо.

3. Пушкин и поэты французского либертинажа XVII века (к постановке проблемы)

В «Скупом рыцаре» барон, обращаясь к деньгам, которые он кладет в сундук, говорит:

Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах (VII, 112).

Стихи эти часто приводятся как пример анахронизма:¹ барон — христианин, рыцарь начала XV века (так обычно датируется время действия пьесы), — конечно, не мог, как герой античности, говорить о богах во множественном числе. Однако для того, чтобы решить, что здесь перед нами: простая ошибка поэта или некоторый глубокий художественный расчет, — следует присмотреться к этим строкам пристальнее и попытаться определить, к какой культурной традиции они нас ведут.

Исследования Б. В. Томашевского по проблеме «Пушкин и французская литература» были поворотным моментом от по-

¹ См. Jakobson Roman. Questions de poétique. Paris, <1973>, p. 186.

исков отдельных совпадений к концепционному соотношению литературных традиций. Стержнем работ Б. В. Томашевского по данной проблеме было доказательство того, что, во-первых, французские поэты XVII века оказали на Пушкина более глубокое воздействие, чем их последователи в XVIII столетии, и, во-вторых, что определяющим для Пушкина было влияние не второстепенных поэтов, а творчество гигантов классицизма: Буало, Расина, Лафонтена, Мольера. С необычайной глубиной Б. В. Томашевский видел в классицизме французской литературы последний этап европейского Ренессанса.

Такая постановка вопроса принципиально исключала интерес к связям Пушкина с «младшими линиями» французской литературы XVII века. Этот вопрос, как и многие другие проблемы, возникающие в той же связи, Б. В. Томашевский не интересовал и им не рассматривался. И хотя в основных своих контурах концепция автора книги «Пушкин и Франция» стоит незыблемо, в некоторых частных дополнениях она, видимо, нуждается. Одним из них является постановка вопроса об отношении Пушкина к поэтам французского либертинажа.

Первым препятствием к анализу данной проблемы является отсутствие упоминаний об этих поэтах во всех известных нам текстах Пушкина. Казалось бы, на этом можно поставить точку и считать вопрос исчерпанным. Однако в настоящее время все более делается ясно, в какой мере рискованно отождествлять сознание поэта с корпусом дошедших до нас рукописей, и метод реконструкции все более входит в минимальный набор исследовательских приемов. Естественно, что одновременно поднимается вопрос о границах, отделяющих научную реконструкцию от досужих предположений.

Прежде всего, поставим вопрос о том, мог ли Пушкин ничего не слышать об этих, основательно забытых даже во Франции начала XIX века, поэтах. Просмотрим под этим углом зрения источники, на которых основывались суждения Пушкина о французской литературе. Как показал Б. В. Томашевский, прежде всего здесь следует назвать Буало.

Вторая песнь «Поэтического искусства» — произведения, которое Пушкин неоднократно перечитывал и цитировал, — содержит следующие стихи:

Но пусть не вздумает бесстыдный рифмоплет
Избрать всевышнего мишенью для острот:

Шутник, которого безбожье подстрекает,
На Гревской площади печально путь кончает.^{1а}

Во французском оригинале стих о шутнике, подстрекаемом безбожием, звучит более определенно:

A la fin tous ces jeux, que l'Atheisme éleve
Conduisent tristement le Plaisant à la Greve ²

Вряд ли Пушкин, даже если он до того ничего не слышал о поэзии либертинажа, не заинтересовался вопросом, каких именно поэтов-атеистов, шутников, кончающих свой век на эшафоте, имеет здесь в виду Буало. Если же этот вопрос у него возникал, то ответы он мог найти у того же Буало. Уже к этим стихам издатель их в середине XVIII века дал пояснение: «За несколько лет до того один молодой человек, прекрасно одаренный, по имени Пти, напечатал богохульные песни подобного рода. Он был судим, и его приговорили к повешению и сожжению».³

Это указание не было единственным. В знаменитой первой сатире Буало внимание Пушкина должны были привлечь стихи:

Avant qu' un tel dessein m'entre dans la pensée,
On pourra voir la Seine à la Saint Jean glacée,
Arnauld à Charenton devenir Huguenot,
Saint-Soklin Jansenist et Saint-Pavin bigot. ⁴

Смысл этих стихов тот же комментатор пояснил так: «Антуан Арно, доктор Сорбонны, опубликовал превосходный труд против кальвинистов, Жан Демаре де Сен-Сорлен <.. > писал против монахов Пор-Руаяля и, следовательно, был весьма далек от яansenизма; Санген де Сен-Павен, знаменитый либертинец, ученик Теофиля, также как Барро, Бардувиль и некоторые другие».⁵ Таким образом, и вождь этой группы Теофиль де Вио, и его ученики были названы поименно.

^{1а} Буало. Поэтическое искусство. / Пер. Э. Л. Линецкой. М., 1957, с. 74.

² Les oeuvres de M. Voileau Despreaux avec des éclaircissemens historiques. A Paris, MDCCXL, t. I, p.284.

³ Там же; «за несколько лет до того». — Клод Ле Пти был сожжен в 1662 г., а Буало опубликовал «Поэтическое искусство» в 1674.

⁴ Там же, с. 16. «Прежде чем этот умысел придет мне в голову, можно будет увидеть в Иванов день лед на Сене, Арно делается гугенотом, Сен-Сорлен — яansenистом, а Сен-Павен — святошей».

⁵ Там же, с. 17.

Б. В. Томашевский, указав, что пушкинская характеристика Вийона восходит непосредственно к Буало, процитировал начало поэмы «Монах» (1813):

А ты поэт, проклятый Аполлоном,
Испачкавший простенки кабаков,
Под Геликон упавший в грязь с Вильоном (I, 9).

Исследователь заключает: «Так Пушкин характеризовал русского поэта-порнографа Баркова».⁶ Б. В. Томашевский не обратил, однако, внимания на то, что вся характеристика Баркова — вольный перевод из того же Буало, где она относится к известному поэту-либертинцу Сен-Аману:

Ainsi tel autrefois qu'on vit avec Faret
Charbonner de ses vers les murs d'un cabaret....⁷

Приведем перевод Третьяковского, т. к. эти стихи у него переданы точнее, чем у всех последующих переводчиков:

Так некто преж сего, с Фаретом в буйстве смелом
Чертив стих на стенах как углем, так и мелом.⁸

Третьяковский явно знал, к кому относятся эти стихи, знал и репутацию Сен-Амана, поэтому добавил «буйство смелое» — либертинаж. Точный же перевод стиха: «Пачкал стены кабака» — прямо ведет к юношеской поэме Пушкина. Таким образом, можно считать доказанным, что Пушкин сознательно применил в 1813 году к Баркову стихи, относившиеся у Буало к Сен-Аману. Из этого можно заключить, что мир либертинской поэзии не был ему чужим уже в самые ранние годы его творчества. Если к этому добавить, что в поэзии того же Буало он находил упоминания и Тристана л'Эрмита, то весь круг интересующих нас поэтов можно считать наверняка ему известным.

У вопроса есть еще одна сторона: комментатор Буало, поясняя строки о поэте, которого вольнодумство привело на Гревскую площадь, назвал только Клода Ле Пти. Однако вряд ли этот вопрос мог оставить Пушкина безучастным, и он, конечно, мог без труда узнать, что этот поэт-либертинец не был единственной жертвой фанатизма: сожжен был Шоссон, мужественному поведению которого на эшафоте Ле Пти посвятил

⁶ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 99.

⁷ Les oeuvres de M. Voileau, t. I, p. 263.

⁸ Сочинения Третьяковского. СПб., 1849, т. I, с. 28.

стихи, был сожжен поэт Этьен Дюран, приговорен к сожжению вождь либертинцев Теофиль де Вио (оно было заменено длительным тюремным заключением и изгнанием, в котором он вскоре умер, однако из окна своей камеры он мог видеть, как его чучело жгут на эшафоте), при загадочных обстоятельствах был убит юный поэт-вольнодумец Франсуа Мольер д'Эссертин. Наконец, за всеми этими именами вставала мученическая тень Ванини.

Пушкин не мог этого не знать, т. к. рассмотренная сторона дела неоднократно всплывала в сочинениях «перечитанного» им «всех боле» Вольтера. Имя не-зунта отца Франциска Гарасса, гонителя Теофиля и непосредственного виновника его гибели, стало под пером Вольтера нарицательным для фанатика-душителя мысли. Вольтер упоминает его в резких выражениях в «Философском словаре» и в письмах к Даламберу. В «Башне Вкуса» выведен «досточтимый отец Гарассус», «монах в черном», который так себя характеризует: «Я проповедник лучше, чем Бурдалу, т. к. никогда Бурдалу не заставлял жечь книг». «Подите прочь, брат Гарассус, сказала ему Критика, подите прочь, варвар, изыдите из Башни Вкуса, новый визигот, оскорбивший то, что я вдохновляла».⁹ Трудно представить себе, чтобы Пушкин, бесспорно читавший эти и другие высказывания Вольтера по остро волновавшему его вопросу, не заинтересовался более детально судьбами преследуемых поэтов и их творчеством. После всего сказанного предположить определенную меру знакомства Пушкина с творчеством поэтов-либертинцев не будет слишком смелым.

Вернемся, однако, к монологу барона. В двух стихах Пушкин сумел исключительно точно изложить целостную философскую концепцию — концепцию эпикурейства. Существование богов не отрицается. Однако боги не вмешиваются в ход земных дел, управляемых слепой судьбою, а пребывают в глубоком покое блаженном бездействии. Они спят сном потенциальной мощи и, не участвуя в людской суете, являют людям образец для подражания.

Эта концепция была усвоена Теофилом и его учениками, которые, как и их общий наставник Ванини, не были ни атеистами, ни материалистами, а представляли собой эпикурейцев-скептиков, бросавших и своими речами, и своими стихами, и

⁹ Voltaire. Oeuvres complètes. Société littéraire typographique, 1785, t. XII, p. 164-165.

своим поведением вызов официальной конфессии. Слова барона звучат как прямые цитаты из этой поэзии, и цитатами их нельзя признать лишь потому, что подобные мысли в очень сходных выражениях встречаются почти у всех поэтов данной группы.

Прежде всего здесь следует назвать самого Теофиля, который в программной «Элегии к одной даме» писал о боге:

Celuy qui dans les coeurs met le mal ou le bien
Laisse faire au destin sans se mesler de rien¹⁰,—

т. е.: «тот, кто вложил в сердца зло и добро и все предоставил судьбе, ни во что не вмешиваясь». У Теофиля мы находим и важную для нас замену монотеистического бога эпикурейскими богами. Отрицая в принципе самую идею Провидения, Теофиль исключительно точно определяет различие между концепциями божественной воли и судьбы: бог всегда имеет выбор и возможность проявить волю — судьба действует автоматически. В стихах, пронизанных иронией и скепсисом, он так выразил эту мысль:

Pour trouver le meilleur il faudroit bien choisir,
Ne crois point que les dieux si pleins de loisir¹¹,—

т. е.: «чтобы избрать лучшее, надо хорошо выбирать, но я не думаю, чтобы боги имели для этого достаточно досуга».

О богах (вместо единого бога) говорили и ренессансные предшественники либертинцев. Так, на рубеже XVI и XVII веков неизвестный автор эпиграммы писал:

Ne sçay-tu pas que ce bas monde roule,
Jouet des dieux tout ainsi qu'une boule...? ¹²,—

т. е.: «разве ты не знаешь, как вертится сей мир и что боги играют этой игрушкой, как мячом».

Таким образом, Пушкин наделяет барона, который *еще* рыцарь, философией эпикурейца (либертинаж для него — явно ренессансное явление). Однако тут же совершается знаменательная подмена: в такой мере, в какой гигантское властолюбие человека Возрождения трансформируется у барона в рос-

¹⁰ Oeuvres de Théophile /éd. par Alleaume. Paris, 1856, t. I, p. 216.

¹¹ Там же, с. 242.

¹² Цит. по: A d a m Antoine. Théophile de Viau et la libre pensée française en 1620. Genève, 1966, p. 132.

товщичество и скупость, эпикурейские боги, блаженствующие в мощном бездействии, заменяются золотыми монетами — богом нового времени

Слова барона — анахронизм, если считать, что поэт хотел дать предельно конкретное историческое время (Г. А. Гуковский даже установил, во время правления какого из бургундских герцогов происходит действие¹³). Однако при таком взгляде обнаружится много и других анахронизмов. Так, если действие происходит, как полагают сторонники точного хронологического приурочивания пьесы, в первой половине XV в., то о каком «дублоне старинном» может идти речь? Дублон — испанская монета, впервые введенная Карлом V в XVI веке. А как, с этой точки зрения, быть с явно не бургундским именем Иван, которое Пушкин дал слуге Альбера? Видимо, в задачу Пушкина входило создание не точно приуроченной исторической зарисовки, а обобщенной картины столкновения рыцарской эпохи и нового времени. При этом оба культурных массива предстают в противоречии между высокой установкой и искаженно-преступной реализацией. Альбер, исходя из идеалов рыцарской чести, приходит к вызову отца на дуэль и фактическому отцеубийству. Барон прокламирует идеи мощи, властолюбия, неукротимых желаний, свойственные человеку Возрождения, вольнодумство и эпикурейский эгоизм либертинца, но на практике философия наслаждения превращает его в «пса цепного», «алжирского раба» своих денег. Боги Теофиля спят в глубоких небесах, а человек должен, следуя им и Природе, наслаждаться любовью, чувственными удовольствиями и неучастием в человеческих злодействах здесь, на земле. На практике же золотые дублоны, как боги, спят в сундуках, а их владелец отдан на жертву всем разрушительным страстям нового времени.

Тема «Пушкин и поэты либертинцы» далека еще от решения. Для того, чтобы она могла быть поставлена в полном объеме, необходимо изучить связи этой традиции с русской поэзией XVIII века. Так, можно предположить прямое знакомство Баркова со сборниками типа «*Parasse satirique*» (1662), напрашивается параллель между знаменитой «Одой» Теофиля и «одами вздорными» Сумарокова. Однако для постановки темы сказанного, кажется, довольно.

¹³ См.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 315.

Министерство высшего и среднего специального образования
Латвийской ССР

ЛАТВИЙСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ ПЕТРА СТУЧКИ

Кафедра русской литературы

ПРОБЛЕМЫ ПУШКИНОВЕДЕНИЯ

Сборник научных трудов

Латвийский государственный университет им. П. Стучки
РИГА 1983